

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

ГЛАВА 22. “ЧЕТВЁРТЫЙ РИМ” И “МАТЬ-СУББОТА”

После своего исключения из партии Николай дважды за полгода посетил Петроград. Первый раз приехал на несколько дней ещё в октябре 1920-го, когда встретился со старыми друзьями и знакомыми – Александром Блоком, Ивановым-Разумником, Евгением Замятиным, Алексеем Ремизовым, Ароном Штейнбергом.

Блок... Он подарил Клюеву книгу “Седое утро” с дарственной надписью: “Николаю Клюеву через пространства и времена далёкие...” О многом говорят эти слова и, в первую очередь, о том, что давняя “жизнь в духе” с Клюевым осталась лишь воспоминанием. Поздних стихов Клюева Блок не принял, во всяком случае, стихотворения второго тома “Песнослава”, в издательском устройстве которого он в своё принял деятельное участие, остались ему совершенно чужды. Об этом свидетельствует его рецензия 1919 года на стихи Дмитрия Семёновского: “В родовом, русском Семёновский роднится иногда с Клюевым, не подражая ему, но черпая с ним из одной стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить невозможно: тяжёлый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь...” Это не отторжение “русского духа” и не разочарование поэта в “русской стихии”, о чём, увы, приходилось и приходится читать поныне. Это отторжение самого Клюева, того Клюева, каким увидел его Блок – непонятного и пугающего в последних стихах. “Вечер Клюева в Вольфиле, на который я не пошёл. Стишки!” – запись в записной книжке Блока от 24 октября 1920 года. В этом пренебрежительно-отгораживающем “Стишки!” – явное нежелание слышать того, о ком Блок писал когда-то: “Христос среди нас!”

На вечере “Вольной философской ассоциации” Блока не было. Но на следующий день он выступал вместе с Клюевым и Ремизовым на вечере издательства “Алконост” в Доме искусств, посвящённом выходу второго номера журнала “Записки мечтателей”. Здесь-то и прозвучали те самые “стишки”, от которых “старший брат” пытался отгородиться.

Бывший “скиф” Арон Штейнберг вспоминал о вечере в “Вольфиле”: “И для всех наших друзей, которых Клюев разрешил позвать на полуоткрытое собра-

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 4 за 2011 год.

ние, на котором он согласился читать свои произведения, навсегда останется в памяти его глубоко, глубоко захватывающий и дикий, какой-то почти нечеловеческий голос"... Сохранилась запись голоса Клюева, и сквозь все искажения звука можно ощутить его "нечеловечность", высочайшую, вздымающуюся в какие-то неведомые сферы слуха, почти разрывающую перепонки ноту. Можно лишь домыслить – какое впечатление производил этот голос на живых слушателей. Живописное впечатление оставила Ольга Форш. "Он топотал, ржал в великолепно вдохновенно. Он взвихрил в зале хлыстовские вихри, вовлекая всех в действо "беседной избы". Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту. Хотелось, защищаясь, распахнуть форточку и сказать для трезвости таблицу умножения" ... Это уже достаточно близко к позднему восприятию Блока, дескать, "нечем дышать"... Потому дышать казалось им и нечем, что смысл прочитанного не улавливался, оставался за семью печатями... Форш вспоминала о выступлении Клюева ещё дореволюционным, на заседании Религиозно-философского общества, где Николай читал "Подонный псалом" и стихи цикла "Земля и железо". Тогда собравшиеся восприняли явление и стихи Клюева вроде преддверия адской тьмы, что и сформулировала позднее писательница: "Космос, не просветлённый Логосом, предтеча антихриста"... Что уж тогда говорить о том "неизгладимом впечатлении" (Штейнберг), что произвёл Николай на собравшихся в своеобразном "втором издании" Религиозно-философского общества – Вольной философской ассоциации, где слушатели все были знакомые и слушали уже не гимны "беседной избе", а стихи из "Львиного хлеба"...

*Домик Петра Великого,
Брёвна в лапу, косяки аршинные,
Логовище барса дикого,
Где тлеют кости безвинные!*

Антипетровский мотив понятен и ожидаем от Клюева, вот только "безвинные кости" – не давнее, прошедшее. Се – творение продолжателей дела "антихриста" XVIII столетия, обречённых быть смытыми новой исторической волной.

*Правнуки барсовы стали котятами,
Топит их в луже мальчонко-история...
Глядь, над сивушными, гиблыми хатами
Блещет копьё грозowego Егория!*

*Домик петровский — не песня Есенина,
В нём ни кота, ни базара лещужного,
Кружка голландская пивом не вспенена —
Ала Россия без хмеля недужного!*

Слушателей всё далее брала оторопь. Мысль не успевала за строкой, снимался, дай Бог, поверностный смысл – если снимался, если не перекрывался звуковой волной... Но финал – как разряд тока. Имя, выхваченное слухом, – словно разряд соединённых проводов.

*Барсова пасть и кутья на могилушке,
Кто породил вас, Зиновьев с Егорием?
Видно, недаром блаженной Аринушке
Снилися маки с плакучим цикорием!*

Эпоха соединила поначалу несоединимое, а потом чужеродное ей, но родное, исконное, древнее, жизнестроительное – извергла из своих уст, изгнала из своего миропонимания... И сам поэт, венчавший Ленина и Льва, отторгнут и "вычищен".

В позднейшей редакции "Зиновьева" заменит "турбина" – и не по причине самоцензуры. Не в личности дело, а в сути эпохи, предпочевающей железное живому.

... На этих вечерах присутствовал журналист и поэт Фёдор Грошиков, который в "Красной газете" изложил свои впечатления о клюевских выступлениях.

Начал он со строк из клюевского письма, любезно предоставленного Сергеем Городецким: “Трудно понимают меня бетонные, турбинные люди, душно им от моих избяных, кашных и коврижных миров...” — жалуется поэт Николай Клюев в письме к одному из своих друзей”. Оказывается, не только “бетонным” и “турбинным” душно, но и Блоку стало “нечем дышать”... А Грошиков пишет свой ответ на клюевское пророчество “Грянет час — и к мужицкой лире припадут пролетарские дети...”: “Жалуется, ибо не видит, что революционный пролетариат торопится навсегда уйти от тех понятий, которыми жила когда-то наша тёмная, кряжистая, мистическая деревня...” Кажется, следуя дальнейшему ходу мысли журналиста, что случай с Клюевым всё же не безнадежен: “И у “кряжистого” поэта Н. Клюева намечается гигантский сдвиг, доходящий до понимания не только своей русской революции, но и революции мировой, всечеловеческой, хотя и это понимание ещё не совсем свободно от некоторого мистицизма...” Клюев пишет о грядущем — его современное всё переводит в настоящее, пророчество интерпретирует, как гимн всемирной революции — и такое понимание осталось на десятилетия... Но и приятие Клюевым революции — не то приятие, что любо слушателю... “Клюев никогда не будет нашим певцом, певцом действенного, городского пролетариата, ибо слишком глубоко в земле роятся корни его творчества. Но всё развитие его творчества показывает, что связь деревни с городом растёт и крепнет, что коренным образом изменяется психология мужика-землероба. И недалёк тот день, когда мы будем гостить на пышной свадьбе земли с железом, деревни с фабричной трубой, крестьянина с рабочим...” Есть ли самому Клюеву место на этой свадьбе? Ответ — в названии самой статьи: “**Последний из могикиан**”.

Но это слово Фёдора Грошикова оказалось не последним. Через несколько лет он напишет посвящённое “последнему из могикиан” стихотворение “К родным истокам” уже совершенно в иной тональности, когда все идеологические претензии отступили в нети перед искренним восхищением клюевским поэтическим даром.

*Не презирай ловитву
За тяжкий груз грехов,
Читаю, как молитву,
Твой старый “Песнослов”.*

*Читаю и тоскую
О русском, о родном;
Я вижу — глубь какую
Ты зачерпнул стихом!
.....
Я знаю, скоро люди
Тебя полюбят вновь —
Прими, желанный Клюев,
Привет мой и любовь!*

Статью “Последний из могикиан” Клюев читал внимательно. О стихотворении “К родным истокам” так и не узнал. Грошиков отдал его в “Красную новь”, но оно так и осталось неопубликованным.

* * *

Там же, на вечере в Вольной философской ассоциации Штейнберг передал Клюеву привет от Есенина, с которым виделся в Москве. О похождениях имажинистов во главе с Есениным уже звон стоял по городам и весям. Николай буквально вцепился в Штейнберга: “Что Серёженька? Хулиганит? Сбил с пути? Продаёт, как баба, поэзию?” Штейнберг ничего не стал скрывать — рассказал и про “Стойло Пегаса”, и про имажинистские вечера, оканчивающиеся скандалами, и о том, как Есенин с приятелями расписывал Страстной монастырь четверостишиями, и как ходит гоголем в цилиндре по Москве — и сам чёрт ему не брат... У Клюева слёзы потекли по щекам. “Ох, Серёженька, Серёженька, подумать только, Рязанской земли человек, такой хорошей

земли!” Это “Рязанской земли человек” врезалось Штейнбергу в память на всю оставшуюся жизнь. А Клюев плакал о своём друге, что оторвался от почвы и погрузился в божественное городское болото.

Он вернулся в Вытегру, где до него дошло известие ещё об одном отреченце – Валерии Брюсове. Тот, благословивший своим предисловием его первую книгу “Сосен перезвон”, теперь кардинально пересматривает своё мнение. Писавший некогда “Огонь, одушевляющий поэзию Клюева, есть огонь религиозного сознания”, оценивший “Братские песни” как “редкий у нас образец подлинно религиозной поэзии” – Брюсов пишет о “Песнослов” в совершенно уничижительной интонации: “Пишущий эти строки приветствовал, в предисловии к ней, первую книгу Н. Клюева “Сосен перезвон”. Прошли годы; перед нами 1-ый том сочинений Клюева, но ожидания далеко не оправданы. Полу-крестьянин, полу-интеллигент, полу-начётчик, полу-раскольник, Николай Клюев не вышел из узкого круга своих наблюдений. Картинки северной природы, пересказы духовных книг, изредка – подражание частушкам, всё – пропитанное религиозным пафосом, в духе нашего раскола, вот – поэзия “Песнослава”... Стихи Н. Клюева переполнены мистическими настроениями и церковными образами... Всё это бесполезно, как научный материал, ибо вольно переложено, утомительно как стилизация, однообразно... По форме стихи Клюева застыли на образцах 90-х годов прошлого века...”

И всё это – даже не о втором томе “Песнослава”, а о первом, где напечатаны стихи “Сосен перезвона”, “Братских песен”, “Лесных былей” – некогда расхваленные Брюсовым. И как подтверждение своих уничижительных тезисов Брюсов приводит в пример стихи как раз из этих же разделов книги...

Клюев уже поначитался о себе многого. И то, что он “в неизмеримо большей степени является певцом былой статики, чем поступательной динамики мирового размаха”, и то, что он, “не довольствуясь душевной кастрацией... докатился и до физической – до фабрикации и восхваления “рожающих стокрылых сыновей и ангелов” – безудых мужей”... Но что с них взять, с убогих... А Брюсов – это совсем другой коленкор.

Не обидя поэтом овладела, а тяжкая дума – что же будут делать те, кто жаждет закопать его – “мистика”, “стилизатора”, “пересказчика”? С кем останутся?

*Меня хоронят, хоронят
Построчная тля, жуки
Навозные проворонят
Ледоход словесной реки!*

*Проглазуют моржа златого
В половодном разливе строк,
Где ловец — мужицкое слово
За добычей стремится челнок!*

А то, что Брюсов ищет в его стихах “пользы для научного материала” – что ж, туда ему и дорога!

*Погребают меня так рано
Тридцатилетним бородачом,
Засыпают книжным гуано
И брюсовским сюртуком.*

*Сгинь, поджарый! Моя одёжа —
Пестрядь нив и ржаной атлас.
Разорвалась тучами рожа,
Что пасла, как отары, нас.*

“Книжное гуано” – весь “научный подход”. И “брюсовский сюртук”, упомянутый ещё Андреем Белым в “Луге зелёном” (“Безумие, наглухо застёгнутое в сюртук – вот что такое Валерий Брюсов”) – того же рода... Самое уязвляющее в брюсовском отзыве – это “полу-крестьянин, полу-интеллигент, полу-начётчик, полу-раскольник”... Сразу вспомнилось: “Полу-милорд, полу-купец, по-

лу-мудрец, полу-невежда...” Этот намёк на пушкинскую эпиграмму Клюев просёк мгновенно. Нет, так играть с ним, написавшим “моя душа, как мох на кочке, пригрета пушкинской весной”, он никому не позволит! Пусть прежний наставник получит своё!

*Не с того ль из книжных улусов
Тянет прелью и кизяком?
“Песнослову” грозится Брюсов
Изнасилованным пером.*

И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять всю ангажированность брюсовского пируэта, в точном соответствии с новыми веяниями зазирающего “огонь религиозного сознания”. Отсюда и “изнасилованное перо”, которым водит брюсовская рука, но не брюсовская воля. А Клюев – он стоял и будет стоять на своём.

*Но ядрён мой рай и чудесен —
В чаще солнца рассветный гусь.
И бадью омуты песен
Расплескала поморка-Русь!*

...В мае 1921 года он снова приезжает в Петроград со сборником “Львиный хлеб”, который выйдет в издательстве “Наш путь”. Тогда же получил членский билет Всероссийского союза писателей. И, очевидно, тогда же познакомился с вышедшей в январе того же года книгой Есенина “Исповедь хулигана”.

* * *

Наверное, никакое более творение Есенина не произвело на Клюева столь тяжёлого впечатления, как эта “Исповедь”.

“Я нарочно иду нечѣсаным с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потёмках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь...” Клюев умел отражать каждый удар, причинявший ему боль, но никогда не мог сказать, что ему “нравятся каменья брани”... И это “нравятся” ставило в его глазах Есенина в один ряд с литературной швалью, наслаждающейся так называемой “литературной борьбой”, то есть свалкой на уничтожение. Это “нравятся” звучало для него страшнее, чем любой личный выпад Есенина, “разлюбившего клюевский сказ”, в его, Клюева, адрес. Все нежные слова Есенина, обращённые к родному краю, в “Исповеди” перекрывались бранью “хулигана”, отвечающего на брань с мнящемся Клюеву наслаждением. И его собственные “злачѣные рогожи” (“Ах, и солнышко отмыкало голос нив и бездорожий и земле в поминок вытало золочѣные рогожи...”) в контексте “Исповеди” обретали жуткий контраст в устах человека, потерявшего себя. “Стеля стихов злачѣные рогожи, мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи!” И эта нежность тут же по контрасту оборачивалась похабством: “Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать...” И чем дальше, тем жутче рисовалась ему картина падения Серѣженьки: “Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь!.. Я пришѣл, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс...” А самое главное – внешнее изменение, неотрывное от внутреннего перерождения: “Самый лучший поэт”, жалеющий “бедных крестьян”, ходит “в цилиндре и лакированных башмаках...”

“Заземление” образа поэта в “Исповеди хулигана”, его снижение даже по сравнению с космической “антиклюевской” “Инонией” вызвало у Николая на “запредельном” контрасте воплощение образа поэта в “Четвёртом Риме”.

*Не хочу быть знаменитым поэтом
В цилиндре и в лаковых башмаках,
Предстану миру в песню одетым*

*С медвежьим солнцем в зрачках,
С потёмками хвой в бородище,
Где в случке с рысью рычит лесовик!
Я сплёл из слов, как закат, лаптище
Баякать чадо — столетий зык, —
В залятой зыбке седые страхи,
Колдуньи — Дрёмы, горбун — Низги...
Моё лицо — ребёнок на плахе,
Святитель в гостях у бабы-яги.*

Это — заповедь к поэме, в которой поэт обретает вселенскую суть и стать — подобно протопопу Аввакуму на вторую неделю Великого Поста: "...Разпространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен, под небесем по всей земли разпространился, а потом Бог вместил в меня небо и землю, и всю тварь..." И Клюев здесь не уступает Аввакуму, но "вся тварь" земная выпукла и вещественна, каждая — в своём бытии, и все они вместе — вмещены в плоть и слово Николая.

*О край золотых сенокосов и гумен!
О ткацкая радуг и вёсен лапта!
К тебе притекают искатели кладов —
Персты мои — пять забубённых парней,
И в рыжем полесье, у жил водопадов
Буравят пласты до алмазных ключей.*

.....
*Не хочу цилиндром и башмаками
Затыкать пробойну в барке души!
Цвету я, как луг, избяными коньками,
Улыбкой озёр в песнозвонной тиши.
И верен я зыбке, плакучей родимой,
Могилушке маминой, лику гумна;
Зато, как щеглята, летят серафимы
К кормушке моей, где любовь и весна.
Зато на моём песнолиственном дубе
Бессмертия птица и стая веков,
Варить Непомерное в черепа сруб
Сошлись колдуньи у залятых котлов.
В котлах печень мира и сердца вязига,
Безумия перец, укроп тишины...
Как первенец ясный, столикая книга
Лежит на руках у родимой страны.*

Писавшие потом об этой поэме, вышедшей отдельным изданием, сводили весь её смысл к полемике с Есениным и имажинистами. Имажинистов Клюев вообще в упор не видел, и одно-единственное упоминание Мариенгофа в его стихах — лишь наглядное обозначение того кошмара, в которое, как думал Клюев, превратил свою жизнь Есенин. Но и "Исповедь хулигана" здесь была лишь первотолчком. По сути "Четвёртый Рим" — это финальный аккорд симфонии под названием "Львиный хлеб" — апология Востока и пророчество о неминуемом вселенском повороте, после которого и наступит Четвёртый Рим, ибо на этой земле, под этим небом, как было сказано в XVI веке: "...вся христианская царства приидоша в конец и снидошася воедино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть росеское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не бытии..." Если понять заключительные слова, как "дай Бог, чтобы четвёртого не было!", то речь идёт о грандиозном мировом катаклизме, который и воплощает Клюев в своей поэме:

*Котёл бессмертен, в поморьях щаных
Зарезет яхонт — Четвёртый Рим:*

*Ещё немного, и в новых странах
Мы жёлудь сердца Земле вручим.
В родных ладонях прозябнет дубом
Сердечный жёлудь, листва-зрачки...
Подарят саван заводским трубам
Великой Азии пески.
И сядет ворон на череп Стали —
Питомец праха, судьбы маяк...*

По существу, распутинская пляска, которую плясал Клюев “перед царским тронном”, о чём он далее повествует в поэме — “чтоб метлою пурги сибирской замести истории след”, — продолжается уже во вселенском масштабе, и рождение нового слова сопровождается рождением нового мира. “Не от песни ль пошёл вприсядку звонкодугий лихой Валдай, и забросил в кашную латку многострунный невод Китай? На улов тарашит Европа окровавленный жадный глаз. А в кесе у деда Антропа кудахчет павлиний сказ...” Железному Западу наступит конец, а благословенный Восток, куда скроется поэт, — незыблем, и оттуда вернётся песнотворец со стихами — “жемчугами Востока”, дабы сложить их “пред образом Руси”. Такова кульминация “Четвёртого Рима”.

Можно, конечно, вспомнить здесь статью Иванова-Разумника “Третий Рим” 1917 года, где критик “с новым правом” повторял “старую формулу XVI века”, относя её “к идее не автократии, а демократии, не самодержавия, а народодержавия... В папе, в патриархе, в царе выражалась идея “старого Рима”, “старого мира; в идее Интернационала выражается социальная идея демократии, идея мира нового”... Только естественнее и точнее было бы назвать предшественников Клюева, от которых он в данном случае явно отталкивается, его духовных отцов, пред ликом которых он в предчувствии всемирного крушения не боится впасть в очевидную ересь. “Иного же отступления уже нигде не будет: везде бо бысть, последняя Русь zde” (Аввакум). “Российское царство третий Рим и отсюду христианское благочестие в него едино собрася” (Никита Пустосвят). “Всё благочестие в твое государство едино царство собрася и третий Рим, благочестия ради, твое государство московское царство именоваша” (соловецкие старцы). Все эти свидетельства были сведены в книге уже упоминавшегося Ивана Кириллова “Третий Рим. Очерк исторической идеи русского мессианизма”, вышедшей в 1914 году и хорошо знакомой Клюеву.

Сам же поэт так объяснял смысл и суть “Четвёртого Рима” Николаю Архипову:

“Только в союзе с землёй благословенное любовью железо перестанет быть демоном, становясь слугой и страдающим братом человека. Это последняя песня — праведный строй и торжество рая.

Но кто слышит её? Учёный застёгивает сюртук и поэт затыкает уши книгой”.

(Последние три фразы — почти дословный пересказ заключительных строк стихотворения “На младенца-берёзку...” — С. К.)

“Истинная культура это жертвенник из земли. Колосья и гроздь винограда — жертва Авеля за освобождение мира от власти железа. Расплавятся все металлы и потекут, как реки. В этом последнем огне сгорит древний Змий... И вот уже ворон сидит на черепе стали”.

(Леденящая кровь картина технократического апокалипсиса. — С. К.)

“Через ледяное горло полюся всех нас отрыгнёт земля в кошель доброго Деда. Вот тут-то: “Ау, Николенька, милый!”

(Невозможно сразу не узнать грядущую картину нового ледникового периода и нового потепления. — С. К.)

“Возвращение Жениха совершается вечно. Оно станет и моим делом за мою любовь к возлюбленному, как к сердцу мира.

Что ищете живого с мёртвыми?

Воскрес Авель, и железо стало гроздью и колосьями”.

Конечно, в суть поэмы, как объяснял её Клюев, никто из современников проникнуть не мог.

Надежда Павлович в “Книге и Революции” оценила “Четвёртый Рим” со всей отчётливостью: “За песни его об этой тёмной лесной стихии мы должны быть Клюеву благодарны: врага нужно знать и смотреть ему прямо в лицо”. Подобных определений к Клюеву до сей поры не применялось, но в дальней-

шем всё чаще и чаще о нём будут писать в тоне, заданном Павлович, будущей “православной поэтессы”. Были, впрочем, и те, кто не утруждал себя глупостями в плане — почему Есенин ходит в лаковых башмаках, а Клюев в лаптях — а оценили “Четвёртый Рим” в самых высоких словесах. Старый знакомый, артист и режиссёр Виктор Шимановский писал Клюеву:

“Дорогой Николай! У меня в руках единственная, небывалая книжка, небольшая, тонкая, белая, даже как будто излишне “изящная” на вид — “Четвёртый Рим”.

Тайна, тайна в ней, какая-то обнажённая невероятная тайна. Слово жизни, слово о жизни...

А может быть, сама жизнь?

... Читаю её, перечитываю, нет, даже не так: вслушиваюсь, впиваюсь или сам пою. Не знаю.

Но только это не обычное чтение. Что-то другое.

Да что говорить.

Только бедные, унылые люди не чувствуют эту невиданную книжку.

И, не чувствуя её, они не остаются равнодушными, но, страшись силы, в ней заключённой, они ненавидят её, как ненавидят стихию, как ненавидят Россию, как ненавидят Любовь и распинающую и распятую...

Если б создать такой же необычайный, как сама поэма, инструмент, какая бы потрясающая симфония самумов и ураганов сорвалась бы с этих тонких, белых, чересчур нежных страничек этой маленькой книжки...

Это уже не литература!..

В “Вольфиле” поэма не понята. Говорилась всякая чушь. Кажется, только Разумник Вас(ильевич) отстаивал, да ещё кое-кто...

Разумник Васильевич спел восторженный гимн силе Клюева: “... Не Сталь победит мир... а духовный взрыв приведёт к Четвёртому Риму: в силу “стальных машин, где дышит интеграл” не верит мужицкий поэт... Самонадеян захват поэмы; но Клюев — имеет право на самонадеянность: сила! Техник стиха его недаром восторгался Андрей Белый; но недаром он и боялся того духа, который сквозит за “жемчугами Востока” стихов Клюева... Торжественной песнью плоти является вся первая часть “Четвёртого Рима”.

...После этой “песни плоти” могло создаться впечатление, что диалог Есенина и Клюева завершён на более или менее продолжительный период. Но ещё не подошёл к концу ноябрь 1921 года — и сразу после “Рима” Клюев пишет “Мать-Субботу”, где сей диалог получил своё продолжение — подспудное, бытийное, на тончайших творческих энергиях.

В основе этого диалога лежит слово Христа: “Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец Ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше ли их?” А перед этим было: “Душа не больше ли пищи и тело одежды?”

Многие вспоминали эти слова в пору лютого голода, те, у кого душа уже не обладала той крепостью, чтобы переносить муку без жалоб. У самого Клюева вырывалось в отчаянии:

*Родина, я умираю —
Кедр без влаги в корнях,
Возношусь к коврижному раю,
Где калач-засов на дверях.*

*Где изба — пеклеванный шолом,
Толоконная городьба!..
Сарафанным алым подолом
Обернулась небес губа.*

Клюев, для которого небесное сосредотачивалось в земном, а земное — в небесном, впадал в иступление от необратимого разрыва двух ипостасей в реальности — для него нестерпима была сама мысль, что “не откроет куриная лапка алмазных врат коммун, перед ними не вымолят корки за сусальный пряничный стих...” “Пряничным стихом”, настоящим на хлебной опаре, писалась “Мать-Суббота”.

А в это время Есенин... Но тут лучше обратиться к книгам ныне забытого писателя Сергея Патрашкина, писавшего под псевдонимом “Григорьев”. Вот

описание с натуры встречи автора, Есенина и Кусикова в мастерской Сергея Коненкова. В разговоре принимают участие друг Коненкова Григорий Александрович и его жена.

“Есенин (блажен: он некогда насытится): “А как же землю удобряют и коровьим, и лошадиным, а хлеб растёт, и мы его едим”. Гр. А.: “Навоз тронь рукой, обожжёт. В нём огонь”. Она: “Хлеб затем и растёт. На самой вершинке колос”. Кусиков: “А картошка?” Она: “Картошку, старые люди говорили, и есть грешно”. Гр. А.: “Чёртовы, слышь, яйца”. Кусиков: “А вот Есенин говорит, что и хлеб грешно есть. Серёжа – ну-ка, “Песнь о хлебе”. (Есенин читает эстрадно, вдохновенно и даже жутко): “Вот тогда-то входит яд белесый в жбан желудка яйца злобы класть...” Гр. А. (после деликатной паузы): “Ты, Серёжа, хочешь, чтобы птица не пила, не ела, да пела”. Кусиков (галантно к Ней): “А как вам понравилось?” Она (по существу): “Ученики-то срывали колоса в субботу. А он сказал – ничего в субботу нельзя делать, а хлеб жать можно. Какой ни будь праздник в жнитво!..”

“Молчу и рассуждаю, – продолжает Григорьев. – Есенин каждый день обедает и чай с белым хлебом – а голод, какого мир не видел (на самом деле белый хлеб и другие кушанья у “экономки”-спекулянтки чередовались с промёрзшей кониной в оставшихся забегаловках. – С. К.). Вот только девятнадцать столетий назад что Евангелие, как не Песнь Великого Голода? Поэзия Есенина – крик совести: оправдайся. И оправдался: я, мимолётный гость ваш – то же самое оправдание, что и в Евангелии. Вот моё оправдание – песнь о хлебе”.

Именно “Песни о хлебе” Григорьев посвятил самые проникновенные страницы другой своей книги “Пророки и предтечи последнего завета”, посвящённой поэзии имагинистов.

“От недорода, от недоедания, от бесконечного недовольства у нас развилось **недоволье** до особой, проявленной взрывом войны, массовой душевной болезни: **мы не доносим ложку до рта**... Я слышу возражение: “Ещё как донесём, только давай!” Ну, разумеется, Есенин – парень не промах. И “мимо ложки рта не пронесёт”. Однако, послушайте его попристальной, и вам, может быть, станет понятней его душевный голод, его неуверенная (недавно), хотя и задорная рысь на тонких ногах жеребёнка... Мы, пасынки революции, наши дети рылись в помойках, рядом с собаками, чтобы найти оглодок корки хлеба. Поистине, едим наш хлеб с кровью! Те, кто в политике были крайними последниками “безубойного питания”, те кушают хлеб с кровью поневоле. Ибо во имя спасения культуры ценою крови добывается хлеб. Пусть сгинет она и культура эта. Нельзя! Причастниками великой Евхаристии стали даже те, кто прятался от шрапнелей революции в погребках вместе с мешком крупчатки. **Тело и кровь** под видом хлеба и вина...”

Здесь достигает своего предела переосмысление Евангелия, перевёртывание его смысла в обращении писателя, наряду с “Песнью о хлебе”, к “Инонии”: “Голод преображает. Прощённый грех Есенина – извлечение тела Христова, имеет своё натуралистическое объяснение и оправдание... Духовный голод должен достичь своего наивысшего напряжения, чтобы отвергнуть пищу... Ужас приобщения телом и кровью, хотя бы под видом хлеба и вина, я живо ощутил в 1917 г., когда писал пред октябрём свою “Казарму”... Пророк Есенин открыл мне теперь общее в этом чувстве, и я думаю иногда о “христианах” и церкви: как им, в самом деле, “не страшно”, когда дьякон гласит: Со страхом Божиим и верою приступите!.. Третий гнева исполненный Спас смотрит сквозь зарево кощунных слов. Дух ведёт Есенина в град Инонию, где живёт “Божество живых”. Думаю, что грех Есенина прощённый, и не весь он в погибели. Шагнув широким шагом прямо с горы Фавор в сад Гефсимании, поэт уже не властен выбирать себе судьбу... Причащая голодного Спаса мужицкой вьють, пророк Есенин по библии, но отнюдь не по евангелию заключает новый договор с Богом. Новый Израиль, богоборец жалостью, подобно Аврааму протягивает к Богу, нищему на росстани мира “гостию”. Вот за то и прощено будет Есенину извлечение тела Христова, что он подал Богу в трудные для Него дни хотя бы не ради Христа, а ради Волоокого Спаса милостыню... Ещё не скоро мы вкусим хлеба со спокойной совестью!..”

Всё это читал Клюев – и есенинская “Песнь о хлебе” была воспринята им, как возвращение в первозданный хаос. Но засело внутри – “грех Есенина прощённый и не весь он в погибели...” Другое дело, что у самого Клюева ков-

рига, восходящая на божественной опаре, не плоть, предназначенная для “жбана желудка”, “не яйца злобы”, а творение “ангела простых человеческих дел”, что “хлебным тельням дал тук и предел” и, “вскипев урожаем в персях земли”, освятил великое изделие для трапезы.

“Песнь о хлебе” Есенина — первобытный крик человеческого существа, крик, в котором — боль на разрыв.

*Наше поле издавна знакомо
С августовской рожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как жёлтый труп.*

*На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп-овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.*

*А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.*

*Никому и в голову не встанет,
Что солома — это тоже плоть.
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть.*

.....
*Все побои ржи в припёк окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он, вкушающим соломенное мясо,
Отравляет жернова кишок.*

На наших глазах свершается убийство. Без покаяния и отпевания. У Клюева же в “Анти-песни о хлебе” — “Матери-Субботе” — творится священнодействие, в котором нет места “катафалкам”, гарканью и соломенному мясу. Творится именно священная жертва.

Предуготовляется воскрешение духа во плоти — в ковриге. Пред действием наступает священная тишина, как в ночь перед Воскресеньем. В действе принимают участие все покровители нивы и жнитвы.

*Что до того, если дедов кошель —
Луг, где Егорий играет в свирель,
Сивых, соловых, буланых, гнедых
Поят с ладоней соборы святых:
Фрол и Медост, Пантелеймон, Илья —
Чин избяной, луговая семья.*

Поэма вся выстроена по “нарастающей звуковой”. Шёпот “ангела простых человеческих дел” и ответное бульканье “гусыни-бадьи” и бубнение мухи, когда изба начинает оживать, каждый одухотворённый предмет обихода наводит чистоту в преддверии хлебной Евхаристии — ещё не нарушают благоговейной тишины, когда “дремлет изба, как матёрый мошник”... И в этой тишине начинается совершаться мистическое действие: “Бабкины пальцы — Иван Калита — смерти грозятся, узорят молву, в дебрях суслонных возводят Москву...” Начинается возведение “Четвёртого Рима” — мать городов русских заново возводится бабьим оберегом и словом поэта... С этого мгновения беззвучный звук, неслышимый обычному слуху, усиливается с каждым движением обихода и Божьей твари. Если до этого восклицание принадлежало лишь ангелу простых человеческих дел, то теперь восклицающая нота исходит из Красного угла, и с ним сливается своё восклицание принимающий участие в мистерии поэт.

*Слышите ль, братья, поддонный трезвон —
Отчие зовы запечных икон?!
Кони Ильи, Одигитрии плат,
Крылья Софии, Попрашие врат,
Дух и Невеста, Царица предста
В колесе житном отверзли уста!*

И начинается самое главное. “Сладостно цепу из житных грудей пить молоко первопутка белей, зубы вонзать в невестную плоть — в темя снопа, где пирует Господь...” Перед нами в буквальном смысле акт физиологического наслаждения, предшествующий возжиганию в печи священного огня, что “прочит... за невесту калым”. Ощущение происходящего как священнодействия вызывает в памяти крещение младенца Николая в квашонке и согревания его в русской печи во время обряда “перепечения”... Так рождение хлеба сопрягается с рождением поэта. Тихое парение серафимов над печью “разжигает” действие, переходящее в “брачную пляску”, что косвенно напоминает об элевзинских таинствах... Но у Клюева эта пляска памятной нитью неразрывно связана с хлыстовским радением.

*Брачная пляска — полёт корабля
В лунь и агат, где Христова земля.
Море житейское — чёрный агат
Плещет стихами от яростных пят.
Духостихи — золоторогов стада,
Их по удоям не счесть никогда,
Только следы да сиянье рогов
Ловят тенёта захватистых слов.
Духостихи отдают молоко
Мальцам безудным, что пляшут легко.
Мельхиседек и Креститель Иван
Песеннорогий блюдут караван.*

Мельхиседек и Креститель Иван — предшественники Христа. И следующая, уже полнозвучная, наполняющая всё пространство поэмы сцена соития во имя рождения поэта — приводит к мысли о рождении грядущего Мессии. А впереди — новое воскрешение Иисуса, “пеклеванного Иисуса”.

*Ты уснул, пшеничноликий,
В васильковых пеленах...
Потным платом Вероники
Потянуло от рубах.*

*Блинный сад благоуханен...
Мы идём чрез времена,
Чтоб изведать в новой Кане
Огнепального вина.*

Смысл своей поэмы Клюев, как и в случае с “Четвёртым Римом”, разъяснял Николаю Архипову, и это разъяснение снова напоминало об отвергнутом Церковью учении Оригена.

“Мистерия избы — Голубая Суббота, заклание Агнца и урочное Его воскресение. Коврига — Христос избы, хлеб животный, дающий жизнь верным.

Рождество хлеба, его заклание, погребение и воскресение из мертвых, чаемое как красота в русском народе, и рассказаны в моей “Голубой Субботе”.

(“Голубая Суббота” — первоначальное название поэмы, свидетельствующее о Свете Фаворском, осеняющем мистирию. — С. К.)

Причащение Космическим Христом через видимый хлеб — сердце этой поэмы.

Человек-пахарь, немногим умалённый от ангелов, испупит ржаной кровью мир. Ходатай за сатану, сотворивший хлеб из глыбы земной, пахарь

целует в уста древнего Змия и вводит в субботу серафима и дьявола, обручая их перстнем бесконечного прощения...

... Уже в августе 1922 года, снова приехав в Петроград, он опять выступал на заседании Вольной философской ассоциации, на котором присутствовали и молодые писатели, сравнительно недавно объединившиеся в группу "Серапионовы братья".

Живописное воплощение этого чтения Ольгой Форш позволяет увидеть – как именно "поняли" Клюева присутствующие.

"Читая, Микула разъярился. Космы отросших волос ему прянули на глаза. Он сквозь космы сверлил голубыми, пьяными от лирных волнений, и сверкающими, и гаснущими от вспенённых чувств взорами. Порой – как одержимый элевзинским таинством, помавая тирсом, воскликнет вдруг "эвоз!" – он взрывал мощным голосом... Прославлена от земли в зенит вертикаль. И она – мать, рождающая самосильно.

Никогда, может быть, не было такого возвеличения начала женского, идеи женской – церковью, философией, бытом хитро сведённой к метафизическому и всякому "приложению" мужчины. В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко русской концепции впервые женщина возносилась в *единицу* самостоятельной ценности как мать. Прочее всё – дама, роза, мистика, дева – отметаётся как баловство.

Вскрывались внезапно и находили оправдание глубины народные, даже то, что казалось бессмыслицей и похабством. И вдруг подумалось – быть может, бессознательной тягой к лону матери, тягой к тёмному, уберегающему материнскому охранению и досадой, что его уже нет, объясняется происхождение всего ужасающего, единственного в мире российского мата.

Окончил Микула стихи свои плача".

Таким было "видение" поэмы Ольгой Форш. С молодых литературных дикарей и взять-то особо было нечего.

"Молодые, кто здесь, кто там, смотрели внимательно, вежливо, и глаза их были сухи.

Они заговорили по очереди. Они отлично поняли и оценили силу стиха, богатство образов, узор языка, но им было всё равно. Они кондовую мощь Микулы восприняли со стороны, как иностранцы... Весь пафос Микулы, который целиком зачался, рос и ветвился славянской вязью, был для них таким же прошлым, каким земля на китах... Прошлое было им, как цыплятам в инкубаторе скорлупа, из которой скорей надо было выторкнуться.

Но зато Микуле он и разъяснили его всеми методами, напоследок формальными".

Подобное отношение к "Микуле" можно сплошь и рядом встретить и ныне. "Разъясняющих" хватает. А тогда – тогда Николай мог произнести одну единственную фразу, запомненную Ольгой Форш:

– Пойти бы куда... дух томится.

И плач его был не только от своей поэмы. Он не мог не понимать – как резко начали редеть ряды тех, кто при всём отталкивании, при всей "самости", при всём последующем отторжении – некогда согревал его в духе, находил для него нужные слова. Уже не было Блока, скончавшегося в страшных мучениях, не было Гумилёва, расстрелянного за "участие в контрреволюционном заговоре". Между эпохами ложилась непреходимая черта. Наступала новая, тяжёлая, неудобная жизнь, которая грозилась неведомым и внушала страх, какого не испытывал Николай в самые тяжёлые дни голода, гражданской войны, "красного" и "белого" террора.

Оставался Иванов-Разумник. И – каков бы он ни стал – Серёженька, от которого получил Николай душевное письмецо.

"Мир тебе, друг мой! Прости, что не писал тебе эти годы, и то, что пишу так мало и сейчас. Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать всё, чем мыслю и отчего болею. А о тебе я всегда помню, всегда во мне ты присутствуешь. Когда увидимся, будет легче и приятней выразить всё это без письма.

Целую тебя и жму твою руку".

Наверно, ничто не могло так обрадовать Николая в те дни, как это послание. Радость ещё была и в том, что наконец-то он мог высказать всё, что накопилось в душе, отдалившемуся "брату". Он чувствовал, что и ему самому, и Есенину это необходимо.

(Продолжение следует)